

Джимми Лотард

Погружение в Лимб

18+

Джимми Лотард
Погружение в Лимб

«Автор»

2026

Лотард Д.

Погружение в Лимб / Д. Лотард — «Автор», 2026

В «Лимб», виртуальном мире доктора Гладева погружают Элен, потерявшую смысл жизни. Она осознаёт страшную истину, система не лечит, а стирает личности. Часть пациентов стали топливом для цифрового организма. В реальности программист Дэн и психолог Сара спорят о допустимости уничтожение души ради спасения тела? Кризис наступает с психозом пациента Виктора, затем Лимб проникает разум основателя проекта Кравчера, слившийся с кодом. Он решает пробудить всех пациентов ценой их жизней, чтобы остановить поглощение боли, а Дэн вызывает каскадный сбой. Элен совершает акт высшей эмпатии, принимая чужую боль как свою и проваливается в архив забытых душ. Осознав катастрофу, Дэн и Сара превращают систему из хищника в инструмент исцеления. Элен просыпается в реальном мире с тысячей голосов в сознании, они просят рассказать правду. Роман исследует природу сознания, исцеление невозможно через стирание переживаний. В финале появляется вопрос - Где заканчивается технология и начинается душа?

© Лотард Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Серый параллелепипед	5
Глава 2. Архитектура иллюзий	21
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Джимми Лотард

Погружение в Лимб

Глава 1. Серый параллелепипед

Сознание не возвращалось. Оно не пробивалось сквозь толщу вязкого, тягучего, смолистого сна, не всплывало из тёмных, мутных вод забытья, постепенно, по капле обретая очертания мыслей, ощущений и образов. Не было ни тяжёлого, предательского мерцания век, ни конечностей, налитых свинцом и ватой, ни обрывочных, хаотичных фрагментов, которые обычно, словно обломки затонувшего корабля, предшествуют пробуждению.

Напротив, царила абсолютная, бездонная, всепоглощающая чернота — не та, что бывает под закрытыми веками, когда через тонкую кожу всё равно пробивается розоватый отблеск света, а иная, куда более глубокая.

Это была чернота, не знавшая самого понятия света, чернота, в которой не существовало ни «верха», ни «низа», ни направления, ни протяжённости. Она не имела ничего общего с человеческим опытом сна или обморока. Она была ближе к состоянию камня, погребённого в толще земной коры, к состоянию электрона, не имеющего определённых координат, — к чистому, неразбавленному, математическому небытию.

Казалось, её «Я» было разобрано на мельчайшие, субатомные частицы и развеяно по космическому вакууму. Она не ощущала себя как отдельную сущность, не ощущала границ собственного тела, не ощущала течения времени. Секунда или тысячелетие — эти понятия были одинаково бессмысленны, одинаково неприменимы к той крошечной, лишённой всяких ориентиров пустоте, в которой она пребывала. И в этом небытии не было даже страха, потому что страх требует субъекта, того, кто боится, а её — той, прежней, чувствующей и помнящей — больше не существовало. Она была ничем, и это ничто было удивительно, чудовищно, непостижимо спокойным, а затем произошёл щелчок.

Не постепенное нарастание звука, не далёкое эхо. Абсолютный, безупречный, цифровой щелчок, резкий и окончательный, как удар гильотины, обрывающий одну реальность и мгновенно, без задержки, запуская другую. Этот звук не имел источника, он словно бы возник из самой ткани мироздания, из самого факта перехода от «нет» к «да».

Он походил на захлопнувшуюся крышку гигантского саркофага, выточенного из цельного куска обсидиана, звук настолько плотный и весомый, что его почти можно было ощутить кожей. Или на включение рубильника в пустой, мёртвой вселенной, когда по силовым кабелям, дремавшим целую вечность, внезапно пробегает ток, заставляя саму темноту содрогнуться и отступить.

Мгновение назад было Ничто. А в следующее, невообразимо короткое, атомарное, квантовое мгновение, не измеряемое никакими приборами, потому что оно само было границей между измерениями, возникло оглушительное, вибрирующее на всех возможных и невозможных частотах «Я есть».

Она существовала. Это была первая, единственная и неоспоримая аксиома в этом мгновенно материализовавшемся мире. Факт её бытия ворвался в сознание с силой взрывной волны, с яркостью сверхновой, затапливая собой всё. Но вместе с этим базовым, фундаментальным знанием пришла и его тень — мучительный, рвущий на части вопрос. Кто была эта «она»? Чьё это «Я», выкрикнутое в пустоту? Чьё сознание, вырванное из лап небытия, сейчас отчаянно пытается собрать себя воедино из рассыпанных, нестыкующихся фрагментов?

Разум, подобно загнанному, ослеплённому, раненому зверю, загнанному в угол клетки, метнулся вглубь себя. Он метался, бился о невидимые стены, отчаянно, с дикой, всепоглощаю-

щей паникой пытаюсь нащупать хоть какую-то опору, хоть какой-то знакомый ориентир в этом новом, абсолютно чуждом мире. Имя. Нужно вспомнить имя. Это первый якорь, первая нить Ариадны, которая выведет из этого лабиринта. Вчерашний день. Хотя бы одно-единственное воспоминание: утренний кофе, шум дождя за окном, уведомление на телефоне, обрывок мелодии.

Лицо любимого человека — разве у неё был кто-то? Она не помнила. Запах дождя на горячем асфальте, этот ни с чем не сравнимый, влажный, пыльный аромат, обычно вызывающий в душе смутную, сладкую тоску. Хоть что-нибудь. Любой якорь, любая, даже самая ничтожная, микроскопическая зацепка, объясняющая как и почему она здесь оказалась, давшая бы ей контекст, историю, прошлое.

Но каждая попытка обратиться к памяти, каждая отчаянная мольба, брошенная вглубь себя, наткнулась на нечто невообразимое, на то, что разум отказывался принимать. Это была не амнезия в привычном, клиническом понимании. Не туман, не дымка, не размытые, ускользающие силуэты прошлого, как показывают в фильмах, когда герой постепенно всё вспоминает. Не тёмная комната, в которую можно внести фонарь.

Это была хирургически чистая, отполированная до зеркального, ослепительного блеска дыра. Пустота, имеющая чёткие, острые края, словно вырезанная из живой ткани души скальпелем невиданной, неземной остроты. Казалось, кто-то или что-то с ювелирной, садистской точностью, действуя с холодным профессионализмом, ампутировал всю её предыдущую жизнь, не оставив даже рубцов, даже тончайших, едва заметных шрамов на самой ткани её личности.

Не было ни фантомных болей утраты, ни глухой, ноющей тоски по неизвестному. Это было бы хоть каким-то чувством, хоть какой-то связью. Но там, где должно было находиться её прошлое, зияла абсолютная, стерильная, вакуумная пустота.

Она была сознанием, подвешенным в невесомости, наблюдательным пунктом, лишённым какого-либо здания. Она была чистой, незаполненной переменной в чужом, непостижимом, пугающем уравнении, смысл которого ускользал. Она была криком, застрявшим в горле, энергия есть, а звука нет. И от этого осознания собственной абсолютной, онтологической пустоты её охватил не просто страх. Её охватил голый, пульсирующий, первобытный, довербальный ужас — ужас не перед смертью, не перед болью, а перед отсутствием смысла, перед бытием без сущности, перед существованием, у которого украли его историю.

Первым из чувств, нарушившим эту звенящую, оглушительную ментальную пустоту, вернулось осязание. И оно принесло с собой холод. Этот холод не был похож ни на что из человеческого опыта. Он не исходил извне, как от пронизывающего зимнего ветра, заставляющего кровь отливать от конечностей, или от ледяной воды горной реки, обжигающей миллионом иголок.

Нет, он, казалось, генерировался изнутри самой поверхности, на которой она лежала, медленно, неумолимо, капля за каплей просачиваясь сквозь невидимые поры материала, проникая сквозь эпидермис, впитываясь в мышцы, обволакивая каждое нервное окончание, поднимаясь по сосудам, словно жидкий азот, к самой сердцевине её существа. Холод был сухим, безжизненным, каким-то стерильным, лишённым той влажной остроты, которая есть у настоящего льда.

Он не просто отнимал тепло, он, казалось, высасывал из неё саму жизненную силу, саму волю к движению. Он проникал в суставы, делая их деревянными, непослушными, скрипучими. Он поднимался по позвоночнику к затылку, вызывая тупую, давящую головную боль в основании черепа. Казалось, ещё немного, и её кровь начнёт замерзать, превращаясь в ледяную крошку, царапающую стенки сосудов.

Она лежала на спине, вытянувшись, словно изваяние на крышке средневекового саркофага. Поверхность под ней была неестественно, пугающе, математически ровной, настолько

ровной, что это ощущалось как нарушение законов физики. Не было ни малейшего прогиба, ни капли упругости, ни микроскопической уступчивости, свойственной любому матрасу, даже самому жёсткому. Материал не принимал форму её тела, не отвечал на давление лопаток, таза, пяток. Он был абсолютно, надменно индифферентен. Она попыталась слегка согнуть правую руку, преодолевая сопротивление затекших, словно чужих, налитых тяжёлым, холодным гелем мышц. Это простое движение потребовало колоссальной концентрации воли.

Кончики пальцев, дрожа, поползли по глади и наткнулись на резкий, геометрически выверенный, абсолютно прямой край. Она провела по нему подушечкой указательного пальца, ощущая, как кожа скользит без малейшего трения, словно по отполированному веками льду или по поверхности какого-то инопланетного, не предусмотренного природой полимера. Ни шероховатости, ни заусенца, ни тепла.

Это не была кровать. Это был монолит. Тёмный, матовый, иссиня-чёрный параллелепипед, лишённый каких-либо швов, стыков, болтов, заклёпок, креплений, царапин или декоративных элементов. Он казался выточенным из единого, колоссального куска неизвестного минерала.

Материала, не отражающего, а жадно, с какой-то вампирической алчностью поглощающего любой попадающий на него свет. Он не был просто предметом мебели, он был отрицанием самой идеи мебели, абсолютной, самодостаточной, враждебной формой. От него исходило ощущение невероятной, подавляющей древности и, одновременно, стерильной, лабораторной новизны.

Дрожащей, непослушной, онемевшей от холода рукой, она провела ладонью по поверхности, пытаясь считать хоть какую-то информацию. Материал был парадоксальным. Он не обжигал холодом, как металл на морозе, когда кожа мгновенно прилипает, оставляя на поверхности микроскопический слой. Но он и не обладал живой, органической, успокаивающей теплотой натурального дерева или пористого пластика.

Он был абсолютно, термодинамически нейтральным, инертным, мгновенно и жадно, словно чёрная дыра в миниатюре, поглощающим тепло её ладони, но не согревающимся от этого. Он словно питался её теплом, перерабатывая его в ничто. Под головой, как она смутно ощутила, находилось небольшое возвышение, встроенная подушка, являющаяся неотъемлемым, монолитным, плавно изгибающимся продолжением того же самого тёмного, безжалостного основания. Ни простыни. Ни одеяла. Ни покрывала. Ни малейшей, даже самой жалкой, самой циничной попытки создать иллюзию уюта, безопасности или хотя бы минимального человеческого комфорта.

Отсутствие ткани, этой простой, банальной, успокаивающей мягкости, этого посредника между уязвимой плотью и жёстким миром, вызывало в ней глубинный, животный, почти тошнотворный дискомфорт. Её тело, облачённое в какой-то тонкий, скользкий, явно искусственный костюм, напрямую соприкасалось с этой стерильной, безупречной поверхностью, и это ощущение было не просто неприятным. Оно было унижительным.

Она чувствовала себя не человеком, отдыхающим после долгого пути, не пациентом, восстанавливающимся после болезни, а экспонатом в герметично закрытом саркофаге, приготовленным для длительной консервации. Инструментом, аккуратно, с соблюдением всех зазоров и допусков, уложенным в специальный, анатомический футляр для длительного хранения или транспортировки. Объектом, для которого понятия «тепло», «уют», «мягкость» и «сострадание» были просто не предусмотрены в изначальной, базовой спецификации. Кем? Чьей? Этот вопрос вспыхнул и погас, не найдя ответа.

Она попыталась нащупать пульс на запястье, прижав два непослушных, одеревеневших пальца к бледной, почти голубоватой коже в том месте, где, по идее, должна проходить лучевая артерия. Потребовалось несколько томительных секунд, чтобы сквозь гул собственного страха ловить его. Он был. Слабый, частый, какой-то птичий, трепетный, бьющийся где-то

глубоко-глубоко под толщей холодной, чужой плоти, но он был. Ритмичный, пульсирующий, живой.

Этот толчок, этот крошечный гидравлический удар, отозвавшийся в подушечках пальцев, стал для неё первым, ослепительно ярким, неоспоримым доказательством того, что она всё ещё биологическое существо, а не бесплотная галлюцинация, не программа, не сон. Она — тело. Тело, которому холодно, тело, в котором бьётся сердце, тело, которое дышит.

Она почувствовала, как кровь, подчиняясь этому слабому, но упрямому насосу, толчками бежит по венам, разнося по всему организму сигнал тревоги, гормоны стресса, электрические импульсы. Её собственное тело было чужим, непослушным, тяжёлым скафандром, к которому её сознание было насильно, грубо пристёгнуто.

Медленно, тратя на каждое микродвижение невероятное количество энергии, преодолевая сопротивление затекших, негнущихся, словно проржавевших мышц, она села. Позвоночник протестующе хрустнул. Спина, вынужденная держаться прямо без привычной опоры, напряглась, словно стальная пружина, сжатая до предела и готовая в любой момент лопнуть или сорваться с места.

Голова закружилась, перед глазами поплыли тёмные, фиолетовые круги. Она открыла глаза, хотя совершенно не помнила момента, когда закрыла их. Свет, тот самый безтеневого, вездесущий сумеречный свет, ударил по расширенным от ужаса зрачкам, заставив зажмуриться и заслониться рукой. Но даже сквозь сжатые веки он проникал, создавая оранжевое, пульсирующее марево.

Перед ней, когда она, наконец, решилась опустить руку и проморгаться, открылось пространство, которое её мозг, с детства привыкший к незыблемым законам евклидовой геометрии, к прямым углам, горизонталям и вертикалям, к понятиям «внутри» и «снаружи», категорически, панически отказывался классифицировать. Что это? Комната? Скорее камера. Карцер? Нет, слишком стерильно для карцера. Чрево огромного, спящего, безмолвного механизма, где она лишь случайная, инородная песчинка?

Стены, если это можно было назвать стенами, были светло-серыми. Но этот серый цвет был обманчивым, неестественным, каким-то большим. В нём не было глубины, не было микроскопических неровностей, пор, трещинок или той живой, дышащей фактуры, имеющейся у бетона, штукатурки или камня. Стены казались абсолютно, противоестественно гладкими, словно отполированный до зеркального блеска лёд или плотный, застывший, непрозрачный, запёртый в четырёх измерениях туман.

Она обвела пространство диким, мечущимся взглядом, пытаясь найти хоть какую-то точку опоры для зрения, хоть один изъян, хоть одну соринку на этой безупречной поверхности, за которую можно было бы зацепиться взглядом, чтобы не соскользнуть в пучину безумия. Взгляд скользил, не находя ни за что не цепляясь, вызывая головокружение и тошноту.

Нет дверей. Ни дверных проёмов, ни ручек, ни петель, ни замочных скважин, ни тончайших щелей под полом, на которые можно было бы надеяться. Нет окон, даже заколоченных, даже покрашенных. Нет вентиляционных решёток, через которые мог бы проникать хотя бы звук. Нет плинтусов, нет углов в привычном понимании. Углы комнаты не были острыми, девяностоградусными; они плавно, почти незаметно, по какой-то сложной, неестественной, нечеловеческой кривой закруглялись, перетекая в пол и в потолок.

Это создавало давящее, клаустрофобное, сюрреалистическое ощущение замкнутого, герметичного кокона, бесконечной петли Мебиуса, из которой нет выхода, потому что сама концепция «выхода» здесь не была предусмотрена архитектурой. Пространство было самодостаточным, как яйцо, как сфера, и она была запёрта в нём, как желток.

Самым пугающим, самым иррациональным, самым сводящим с ума элементом этой комнаты был свет. Он был везде и нигде одновременно. В помещении не было ни одного источника освещения — ни ламп, ни потолочных светильников, ни скрытых за фальш-панелями

светодиодных лент, ни светящихся сфер. Свет не падал на стены под каким-либо углом, он не создавал бликов, рефлексов или градиентов. Он, казалось, сочился из самой структуры стен, из каждой молекулы этого серого, пористого только на вид материала, ровным, холодным, голубовато-белёсым потоком, создавая эффект вечных, безтеневого, мёртвых сумерек.

Это был свет, в котором предметы теряли свой объём, становясь плоскими, картонными проекциями самих себя. Расстояние до противоположной стены казалось одновременно и пугающе близким, и бесконечно, астрономически далёким, вызывая лёгкое, тошнотворное головокружение и спазмы в желудке. Это был свет операционной, но лишённый её резкой, стерильной, обнажающей яркости; свет, который не освещал пространство, а просто констатировал факт его существования, словно равнодушный, божественный наблюдатель.

Свет, не позволяющий спрятаться в тени, потому что теней здесь не существовало в принципе. Он был абсолютным, тотальным, беспощадным. На ней была одежда и это открытие заставило её опустить взгляд, с трудом фокусируя зрение на собственном теле. Одежда была чужой, но, по крайней мере, она была. Не привычная больничная сорочка с завязками на спине, оставляющая тело беззащитным и открытым сквознякам, и не её собственная пижама, в которой она, легла спать.

Это было нечто среднее, нечто универсальное, бесполое: простой, свободный комбинезон или костюм, состоящий из мягкой, свободной куртки без пуговиц и таких же штанов, сшитых из тонкого, матового, чуть скользкого на ощупь материала, отдалённо напоминающего очень дорогой, премиальный хлопок, но с явной, безошибочно искусственной, синтетической текстурой. Цвета топлёного молока или слоновой кости, без единого шва, видимого стежка, кармана, ярлыка или пуговицы.

Он сидел идеально, словно был скроен по индивидуальным, точнейшим меркам, но эта идеальность посадки только усиливала чувство тревоги. Одежда была надета прямо на голое тело, и это тонкое, почти эфемерное прикосновение ткани к коже было единственной, жалкой, насмешливой уступкой её человеческой природе и потребности в тепле. Она поднесла воротник к носу и вдохнула. Запах отсутствовал. Абсолютно. Ни химии, ни отдушки, ни налёта человеческого тела. Это была ольфакторная пустота, такая же абсолютная, как и всё в этой комнате.

Сначала пришла тупая, оглушающая растерянность. Затем холодное, липкое недоумение, сковавшее мысли. А следом, поднимаясь откуда-то из самых глубин живота, из солнечного сплетения, сжимая внутренности ледяной, неумолимой хваткой, начала медленно разворачиваться паника — та самая, первобытная, лишённая рассудка паника, заставляющая мышь биться об стенки аквариума, а птицу разбиваться о прутья клетки. Она сползла с жёсткого параллелепипеда, не чувствуя, как острый край царапает бедро сквозь тонкую ткань. Босые ступни коснулись пола.

Он был сделан из того же светло-серого, бесшовного материала, что и стены, и был прохладным, но не обжигающе-холодным, как кровать, а просто... никаким. Он был твёрдым, непримиримым. Каждый шаг босой ногой отдавался тупым, ноющим эхом в позвоночнике, подчёркивая, что это место не предназначено для живых, босых, уязвимых ног. Это пол для машин, для механизмов, для инструментов.

Она сделала первый, неуверенный, шатающийся шаг к ближайшей стене. Ноги дрожали, готовые подкоситься в любой момент. Она протянула руку, ладонь была влажной от холодного пота, и прижала её к поверхности. Гладко. Идеально, неестественно, патологически гладко. Ни шероховатости, ни бугорка, ни царапины.

Она провела ногтями, с силой надавливая, пытаясь оставить хоть какую-то борозду, хоть малейший след, любое, самое ничтожное доказательство своего физического присутствия в этом абсурдном, отрицающем её мире. Она хотела оставить автограф своего существования. Ногти заскользили, издав отвратительный, высокий, скрипящий звук, похожий на скрежет

пенопласта по стеклу, но не встретили ни малейшего сопротивления и не оставили после себя ни единого следа.

Стена была абсолютно, надменно равнодушна к её попыткам. Она даже не царапалась. Она была твёрже алмаза, и в то же время не твёрдой в привычном смысле. И тогда, глядя на эту непробиваемую, безразличную серость, чувствуя, как последние остатки самообладания покидают её, она закричала.

— Где я?! — вырвалось из её горла, хрипло, громко, раздирающе, с тем животным, утробным надрывом, обычно издающимся только загнанные в угол, смертельно раненные, обречённые существа. Это был не вопрос, а вопль всей её потерянной, искалеченной души.

Звук не оправдал её ожиданий. В любой обычной комнате, в любом замкнутом пространстве из камня, дерева или бетона, крик заметался бы, отразился бы от стен, создал бы эхо, многократно умножился бы, заполнил бы воздух вибрацией, подтвердил бы наличие границ, материи, физики. Здесь же произошло нечто противоестественное, грубо, цинично нарушающее все известные законы акустики. Звук её голоса, едва сорвавшись с губ, был мгновенно, безжалостно, полностью поглощён.

Стены работали не как отражатели, а как идеальный, космический по масштабу слой акустической ваты, как толща океанской воды на километровой глубине, где звук не распространяется, а умирает, раздавленный давлением. Крик не разлетелся, не заметался в панике. Он просто исчез. Он умер, едва родившись, даже не успев толком прозвучать для её собственных ушей, оставив после себя лишь звенящую, давящую, оглушительную, вязкую, как смола, тишину.

Эта тишина была хуже любого, самого громкого шума. Она была враждебной, осязаемой, плотной, почти материальной. Она давила на барабанные перепонки с силой глубины, заползала в уши, обволакивала мозг, подчёркивая абсолютную, тотальную, космическую, леденящую душу изоляцию. Она чувствовала эту тишину кожей, как прикосновение холодного, влажного камня. Она была одна. Совершенно, невообразимо одна в этой коробке без выхода, которая даже не хотела слушать её голос и была к ней, к её страданиям и ужасу, абсолютно, безжалостно равнодушна.

В каком-то исступлении, движимая уже не разумом, а чистыми, древними инстинктами, она заметалась по периметру, словно зверь в клетке, ощупывая каждый сантиметр этой бесшовной, безразличной поверхности. Её пальцы, растопыренные, дрожащие, скользили по стенам, полу, потолку (она пыталась подпрыгнуть, но ноги не слушались), ища хоть что-то — скрытую панель, микроскопический шов, перепад температуры, что угодно, что нарушало бы эту убийственную, стерильную монотонность.

Дыхание участилось, превратившись в рваные, судорожные, не приносящие облегчения глотки воздуха. Сердце колотилось где-то в горле, отдавая тупой, пульсирующей, раскалённой болью в висках. По спине, под тонкой, искусственной тканью, стекали струйки ледяного, липкого пота, мгновенно остывая и превращаясь в ледяную корку на рёбрах. Она чувствовала, как её рассудок, словно перегруженный, искрящийся процессор, начинает перегреваться, выдавая фатальные ошибки, как реальность плывёт и искажается перед глазами.

— Есть кто-нибудь?! — снова крикнула она, на этот раз уже срываясь на визг, срывая и без того воспалённые, саднящие голосовые связки. Слова вылетали из пересохшего, плающего горла, как осколки стекла. — Откройте! Выпустите меня! Пожалуйста! Умоляю! Кто-нибудь!

Тишина в ответ. Абсолютная, звенящая, злая, полная какого-то бездушного удовлетворения тишина. Только оглушительный, нарастающий, ритмичный гул её собственной крови в ушах, напоминающий шум далёкого, штормового прибоя, и бешеный, захлёбывающийся стук сердца, отсчитывающий последние секунды до неминуемого, полного и окончательного безумия.

Она остановилась посередине комнаты, согнувшись пополам, уперев дрожащие руки в колени, тяжело, судорожно, со свистом втягивая в лёгкие воздух, который, казалось, стал плотнее, тяжелее. Разум балансировал на тончайшей, натянутой как струна, вибрирующей грани.

Ещё минута этой сенсорной депривации, этого молчаливого, давящего абсурда, этой всепоглощающей пустоты, и её психика не выдержит. Мозг, отчаянно, как умирающий от жажды, нуждаясь в стимулах, в любой информации извне, начнёт создавать собственные галлюцинации, лишь бы заполнить эту звенящую, смертоносную пустоту.

И тогда, на самом пике этого отчаяния, на тонкой грани коллапса, комната, наконец, ответила. Это произошло не механически. Не было ни щелчка реле, ни нарастающего гудения спрятанного за стенами трансформатора, ни скрежета открывающегося люка, ни шипения гидравлики или пневматики. Ни один физический прибор не зафиксировал бы этого перехода. Реакция пространства была плавной, органичной, биологической, почти магической — и оттого ещё более пугающей, пробирающей до костей.

Она была ответом не на звук, а на самую эмоцию, на пик кортизола в крови, на электрический шторм в миндалевидном теле её мозга. Прямо перед ней, на той самой светло-серой стене, которую она только что отчаянно, до сбитых в кровь ногтей, царапала, оставляя на ней невидимый, метафизический след своего ужаса, пространство начало менять свою плотность, свою суть.

Серый цвет стал темнеть, уплотняться, сворачиваться в себя, словно сворачивается молоко при добавлении кислоты. Область перед ней — участок размером с большой телевизор, начал наливаться чернотой изнутри, превращаясь в идеальный, абсолютно чёрный, поглощающий свет прямоугольник. Контраст между вечными сумерками комнаты и этой внезапной, космической, бездонной чернотой был настолько резким, неестественным, что у неё физически, по-настоящему заболели глаза.

Она зажмурилась, чувствуя, как потекли слёзы. А когда открыла, внутри этого чёрного прямоугольника уже вспыхнул свет. Он был мягким, холодным, голубоватым, как свет далёких звёзд, но при этом достаточно ярким, чтобы чётко очертить границы экрана. Это был монитор, встроенный в стену так же бесшовно и незаметно, как подушка в кровать. Не накладкой, не панелью, а часть самой стены, ожившая материя. Он светился ровным, без малейшего мерцания светом, и в самом центре этого светящегося прямоугольника, словно изображение на фотобумаге, опущенной в проявитель, начало медленно проступать лицо.

Оно формировалось не так, как формируется картинка на обычном экране, состоящая из пикселей. Оно не мерцало, не проявлялось строками кода или развёртки. Оно возникало из глубины черноты, словно лицо утопленницы, медленно, неотвратимо проступающее из тёмных, маслянистых, неподвижных вод лесного, заросшего ряской пруда, становясь всё более чётким и пугающе, трёхмерным объёмным, с каждой проходящей секундой. Казалось, оно не было плоским изображением, оно обладало глубиной, и эти холодные, стеклянные глаза смотрели прямо сквозь неё, в самую душу.

Это было женское лицо. Миловидное, с правильными, почти симметричными, какими-то неживыми, кукольными чертами. Каштановые волосы, тёмные, густые, были аккуратны, строго, без единой выбившейся пряди зачёсаны назад и, по-видимому, собраны в тугой пучок на затылке, открывая высокий, гладкий, без единой морщинки лоб.

Кожа казалась безупречной, лишённой пор, веснушек, родинок, пигментных пятен или малейших несовершенств, свойственных живой, дышащей, стареющей человеческой плоти. Она напоминала восковую фигуру или очень качественную, дорогую куклу. Скулы были чуть широковаты, нос прямой, губы правильной, но не запоминающейся формы, бледные, без помады. Самым пугающим, самым отталкивающим и завораживающим одновременно в этом лице были глаза.

Они были серо-зелёными, ясными, обрамлёнными тёмными ресницами. И они смотрели прямо на неё, не на объектив камеры, а именно на неё, в эту точку пространства не мигая, с пугающей, хищной, сканирующей, оценивающей внимательностью, от которой по спине пробегал мороз. В них не было ни сочувствия, ни злобы, ни любопытства, ни тени узнавания. Там, в этой мерцающей, цифровой бездне, была лишь холодная, абсолютная, бесконечная, вычислительная пустота, виртуозно, дьявольски искусно замаскированная под человеческий взгляд.

Девушка замерла, словно кролик перед удавом, не в силах ни пошевелиться, ни отвести взгляд. И, прежде чем она успела отшатнуться, заслониться или закричать снова, раздался Голос.

Он не исходил из динамиков, скрытых где-то в стенах. Он не вибрировал в воздухе, не имел направления. Он возникал непосредственно внутри её собственной черепной коробки, где-то за глазами яблоками, резонируя с костями черепа, с верхним небом, с самой тканью мозга. Чистый, ровный, лишённый любых микрофлуктуаций, обертонов, придыханий, делающих человеческую речь живой, тёплой, несовершенной.

В нём не было ни случайных пауз для вдоха, ни колебаний тона, выдающих эмоции. Это был голос, синтезированный, смоделированный с такой дьявольской, пугающей, сверхъестественной точностью, что он обманывал слух, притворяясь натуральным, но подсознание, древний, звериный инстинкт, кричало об обратном. Это вызывало физическую, тошнотворную реакцию отторжения, как если бы в ваш мозг без спроса вложили чужую, холодную, извивающуюся мысль.

— Прекрати кричать! — произнесло лицо на экране. Тон был спокойным, ровным, инструктивным, как у уставшей, но терпеливой няни, обращающейся к капризному, бьющемуся в истерике ребёнку, или у врача, дающего указания пациенту под лёгкой седацией. — Твои голосовые связки в настоящее время находятся в состоянии полного физического покоя. Твой крик это лишь симуляция звука, фантомный импульс, генерируемый твоим возбуждённым сознанием в ответ на острый стресс. Ты тратишь драгоценную метаболическую энергию, она тебе сейчас критически необходима для нейрохимического и физического восстановления. Успокойся. Это приказ.

Девушка попятилась, спотыкаясь о собственные ноги. Её спина с глухим стуком наткнулась на гладкую, прохладную стену в противоположном конце комнаты. Она прижалась к ней, вдавилась лопатками в серый монолит, словно пытаясь раствориться в нём, исчезнуть. Руки сами собой обхватили плечи, пальцы впились в ткань костюма. Она пыталась согреться, хотя крупная, неконтролируемая дрожь исходила вовсе не от холода, а от первобытного, липкого, парализующего волю и мысли ужаса перед этим лицом и этим голосом в её голове.

— Кто ты? — пробормотала она непослушными, онемевшими губами. Собственный голос показался ей чужим, слабым, жалким, каким-то далёким эхом, пробивающимся сквозь вату. — Что это за место? Где я? Отвечай мне! Немедленно!

Лицо на экране слегка, на едва уловимый градус, наклонило голову вбок. Это движение было плавным, но каким-то механически выверенным, лишённым естественной инерции, микродвижений мышц шеи и плеч, свойственных живому, дышащему существу. Так могла бы двигаться голова рептилии или высокоточного андроида.

— Ты задаешь неправильные вопросы в неправильной логической последовательности, — ответило существо. Его губы двигались в идеальной, пугающей, до миллисекунды выверенной синхронизации со звуком, возникающим прямо в центре её мозга. Это создавало эффект жуткой, расщеплённой реальности. — Ты спрашиваешь о свойствах окружающего тебя пространства прежде, чем успела определить свойства субъекта, помещённого в это пространство. Ты хочешь знать, где ты находишься, но ты даже не сформулировала для себя первичный

вопрос: кто именно находится в этом «где». Начни с базовых категорий. Это основы формальной логики.

— Я не знаю, кто я, потому что вы мне не даёте вспомнить! — выпалила она, чувствуя, как внутри, сквозь толщу ледяного страха, начинает закипать обжигающая, бессильная, дающая энергию ярость. Это была злость загнанного в угол зверька, наконец-то оскалившего зубы. — Скажите мне моё имя! Немедленно скажите, что со мной произошло! Вы не имеете права держать меня здесь! Это незаконно!

Существо на экране замерло на несколько долгих, томительных секунд. Затем его бледные, тонкие губы тронула едва заметная, почти призрачная тень улыбки вежливой, холодной, нечеловеческой. Она не затронула ни мышц щёк, ни, что самое важное, этих мёртвых, стеклянных, сканирующих глаз, продолжавших смотреть с тем же ледяным, бесстрастным интересом.

— Меня зовут Элен, — произнесло лицо ровным, невозмутимым тоном.

Девушка моргнула. Слова, прозвучавшие в её голове, ударили, как гонг. Она попыталась осмыслить услышанное, переварить эту короткую, простую, но совершенно сбивающую с толку информацию. Элен. Имя прозвучало одновременно знакомо и чуждо, вызвав странную, глухую резонансную вибрацию где-то глубоко в грудной клетке, в районе солнечного сплетения.

— Элен? — переспросила она, и её собственный голос дрогнул. Имя повисло в мёртвом воздухе, такое же эхо, но теперь наполненное новым, необъяснимым смыслом. — Это... разве это моё имя?

— Я называю себя. — Всё так же ровно, без тени колебания парировало существо. — Я предоставляю тебе свою первичную идентификацию. А то, как это имя отзовется в тебе, какие ассоциации, нейронные связи или фантомные воспоминания оно вызовет в твоём нарушенном сознании, это уже исключительно твоя задача, твой внутренний тест. Я лишь даю ключ. Найдешь ли ты замок?

С этого самого момента линейное время в серой комнате потеряло всякий смысл. Оно больше не текло рекой от прошлого к будущему. Оно рассыпалось на бессвязные, изолированные фрагменты, на острые, как осколки стекла, моменты, лишённые контекста. Не было восхода солнца, не было заката, не было смены дня и ночи. Не было циферблата, на который можно было бы бросить взгляд, не было движения секундной стрелки, не было даже чувства голода или жажды, чтобы отмерять часы. Единственным, что хоть как-то маркировало течение этих бесконечных, тягучих, как патока, часов, было появление и исчезновение лица на серой стене. Экран загорался, Элен задавала свои странные, выматывающие душу вопросы,

Потом экран гас, и девушка оставалась одна в объятиях оглушающей тишины и беззвучных сумерек, чтобы переварить услышанное. Сколько длились эти сессии? Минуты? Часы? Она потеряла счёт циклам сна и бодрствования, потому что сон приходил не как отдых, а как провал внезапный, чёрный, без сновидений, и пробуждение от него не приносило облегчения. Ей казалось, что прошли, возможно, часы, но по мере того, как её разум, адаптируясь к этой стерильной, изолированной среде, обретал новое, горькое, отстранённое спокойствие, она начала смутно осознавать: прошли уже сутки, или двое, или... две вечности.

Эти двое суток или две вечности превратились в череду странных, изматывающих, опосредованных бесед. Элен на экране никогда не давала прямых, однозначных ответов. Вместо этого она, словно искусный, терпеливый психотерапевт-садист или следователь из антиутопии, задавала вопросы. Они казались абсурдными, издевательскими, совершенно неуместными в данной ситуации.

Постепенно, капля за каплей по мере того, как девушка, сидя на краю чёрного монолита или скрестив ноги на холодном полу, прокручивала их в голове, они обретали пугающий, глубокий, экзистенциальный смысл. Однажды, после особенно долгого периода тишины, когда девушка в бессильной злобе пыталась расцарапать монолит кровати, сбивая ногти в кровь, экран ожил.

— Что делает человека личностью? — спросила Элен. Её голос звучал мягко, почти интимно, проникая в самое подсознание. — Проанализируй это. Твои воспоминания? Яркие, эмоционально окрашенные фрагменты прошлого, делающие тебя тобой? Но они могут быть ложными. Ложная память — хорошо изученный феномен. Их можно имплантировать, отредактировать, стереть, подменить. Опираешься на них значит строить дом на зыбком песке. Твоё тело? Этот набор костей, мышц и нервных окончаний, который ты сейчас ощущаешь? Но оно временно. Оно бrenно. Оно стареет, болеет, меняется каждые семь лет, полностью обновляя клеточный состав. Оно предаёт тебя в самый неподходящий момент. Это не константа. Твои социальные связи? Роли дочери, матери, друга, любовницы? Но они исчезают, стоит тебе закрыть дверь, повесить трубку или просто потерять сознание. Они — лишь условность, договорённость с другими такими же нестабильными субъектами. Если отнять у тебя всё это один слой за другим, как шелуху с луковицы, что, по-твоему, останется в сухом, неумолимом, нередуцируемом остатке? Что есть та самая точка «Я», которая наблюдает, чувствует и сейчас слушает меня?

— Я не знаю! — рыдала девушка, сползая спиной по стене на пол и прижимаясь щекой к прохладной, гладкой поверхности. Слезы, горячие и солёные, текли по её лицу, капали на ткань стерильного комбинезона, и это было единственным тёплым, живым, человеческим, что она ощущала за всё это бесконечное время. — Я не знаю, я не философ! Я просто хочу домой! Пожалуйста, просто дайте мне уйти домой!

— «Домой», — задумчиво, словно пробуя это слово на вкус, повторила Элен. — Это абстрактная концепция. Набор геометрических координат в пространстве, к которому привязан определённый набор сенсорных триггеров: запах, свет, текстура пола. Чтобы вернуться в эти координаты, нужно, чтобы тот, кто возвращается, был идентичен тому, кто оттуда ушёл. Тождественность личности, вот что сейчас под вопросом. Зачем ты существуешь? Не в глобальном, философском смысле, а прямо сейчас, в этой конкретной комнате. Твоя функция — просто кричать в пустоту, разбивая голосовые связки о стены, или всё же попытаться найти в этой пустоте саму себя, сформулировать ответ?

Эти разговоры были изматывающими. Они выпивали её, высасывали все душевные силы. Они походили на медленную, аккуратную, садистскую хирургическую операцию на открытом, пульсирующем мозге, проводимую без анестезии, когда пациент находится в полном сознании и вынужден наблюдать за каждым движением скальпеля.

Элен не давила, не угрожала, не повышала тона. Она лишь мягко, неумолимо, с ледяной, бесконечной, инопланетной логичностью подталкивала девушку к самому краю той самой белой, сияющей пустоты в её памяти, заставляя смотреть на неё, не отводя взгляд, пока глаза не начинали слезиться от перенапряжения, а в голове не оставалось ничего, кроме этой звенящей, безобразной пустоты.

На исходе вторых суток (или того, что ощущалось как исход), когда силы иссякли, и девушка, сидя на полу, прислонившись спиной к кровати, в очередной раз, без прежней истерики, а с глухой, тупой, всепоглощающей, почти умиротворяющей обречённостью спросила: «Где я нахожусь?» — Элен на экране впервые изменила тон. Голос, звучащий в голове, стал чуть глубже, обрёл какие-то новые, почти гипнотические обертоны. В нём появились нотки чего-то отдалённо похожего на сострадание. Или, возможно, это была лишь самая сложная, многоуровневая, алгоритмическая имитация эмпатии, просчитанная суперкомпьютером до каждой микросекунды, до каждой интонационной волны.

— Пространство, где ты сейчас физически и ментально пребываешь, можно с огромным трудом, с очень большой натяжкой и долей поэтической метафоры сравнить с понятием, которое человечество в своих древних мифах и эсхатологических текстах называло «Лимб», — произнесла Элен. Слова падали медленно, весомо. — Это не ад, не рай, не чистилище в твоём традиционном, религиозном понимании. Это — Порог. Преддверие. Промежуточное, буфер-

ное пространство, лежащее в онтологической щели между тем, чем ты была, и тем, чем ты потенциально можешь стать. Здесь нет привычного линейного времени, потому что здесь нет движения вперёд, нет энтропии. Есть только абсолютная, всеобъемлющая остановка. Пауза. И глубокий, всесторонний, бескомпромиссный анализ твоей личности.

— Лимб... — прошептала девушка одними губами, облизывая пересохшие, потрескавшиеся до крови губы. Слово было незнакомым, пугающим и одновременно странно, болезненно манящим. Она попыталась осмыслить его, повертеть в голове, как незнакомый, тяжёлый, холодный артефакт. — Значит... я мертва? Это конец? Я умерла там, снаружи, и теперь заперта здесь?

— Нет! — Голос Элен прозвучал твёрже, в нём послышалась металлическая, не допускающая возражений уверенность. — Мёртвые не задают вопросов. Мёртвые не ищут своё лицо в темноте. Мёртвые не способны к рефлексии. Ты жива. Биологически, безусловно, жива. Но твоя жизнь, твоё сознание, твой разум сейчас помещены в специальный, защищённый режим ожидания, как ценная, но нестабильная операционная система, требующая отладки. Твоё физическое тело в данный момент восстанавливается после серьёзного инцидента.

Разум должен дать разрешение на возвращение. Он должен доказать свою целостность. Свою идентичность. Свою, если угодно, душу. После этих слов атмосфера в комнате начала меняться. Сначала это было почти неуловимо, на грани восприятия. Девушка вдохнула и замерла. Стерильный, безвкусный, без запаха воздух, этот лабораторный вакуум, вдруг приобрёл оттенок, глубину, плотность.

Появился тонкий, едва уловимый, но настойчивый, привязчивый аромат сухой лаванды — той самой, что кладут в бельевые шкафы, смешанный с запахом свежескошенной утренней травы, когда капли сока ещё блестят на срезе, и с лёгкой, прохладной, чуть ментоловой, мятной ноткой, холодящей ноздри при вдохе. Она замерла, боясь спугнуть это ощущение.

Затем к этому первому, чистому слою добавился второй, более глубокий и сложный: сладковатый, землистый, чуть прелый запах влажного лесного мха, растущего на камнях у ручья, и тяжёлый, дурманящий, сладкий до приторности аромат цветущего жасмина в тёплую, безлунную ночь. Эти ароматы не были резкими. Они не ударили в нос. Они были обволакивающими, тёплыми, почти осязаемыми, проникающими глубоко в лёгкие и через кровь прямо в лимбическую систему, в гиппокамп, в миндалевидное тело, минуя все логические барьеры, всю защиту критического, рационального мышления.

Они несли в себе мощный, древний, генетический, довербальный сигнал абсолютной безопасности, покоя, материнской ласки и неизбежного, сладкого, как смерть, сна. Девушка попыталась сопротивляться. Она задержала дыхание, пытаясь сосредоточиться на страхе, на злости, на всём том, что держало её в тонусе всё это бесконечное время. Но тело предавало её с той же неумолимостью, с какой Элен задавала свои вопросы.

Химия, древняя, как сама жизнь, брала верх. Напряжение, державшее каждую мышцу в стальном, болезненном спазме, начало медленно, сладко, словно тёплый воск под солнечным лучом, таять. Веки, до этого широко раскрытые от ужаса, стали невыносимо тяжёлыми, словно налитыми жидким свинцом, и мир перед глазами подёрнулся сонной, блаженной пеленой. Дыхание, бывшее рваным и судорожным, само собой выровнялось, став глубоким, размеренным, медитативным и абсолютно чужим.

Она почувствовала непреодолимую, магнетическую, животную тягу к тому самому чёрному параллелепипеду, ещё недавно казавшемся ей ложем пыток, холодным надгробием. Теперь, в этом новом, наполненном ароматами мире, он выглядел как единственное безопасное, тёплое, предназначенное именно для неё место. Как колыбель. Как гнездо. Шатаясь, словно лунатик в глубокой фазе сна, безвольно, подчиняясь чужой, мягкой, но непреклонной воле, транслируемой через запахи, она подошла к кровати и легла на жёсткий матрас.

Как только её спина, напряжённая и измученная, коснулась поверхности, она почувствовала серию крошечных, едва заметных, почти иллюзорных точечных прикосновений к коже. Они распределились по всему телу: на шее, под коленями, на сгибе локтя, на лодыжке, на запястье. Это не были болезненные уколы медицинских игл. Скорее, это походило на поцелуи ледяных, призрачных комаров или на прикосновение капель холодной утренней росы, падающих с листьев на разгорячённую после сна кожу. Микроинъекции.

Множественные, синхронизированные, бесшумные. С каждым таким прикосновением под кожу впрыскивалась крошечная доза вещества, тёплой, бархатной, золотистой волной растекающегося по венам, мгновенно и без остатка растворяя последние, жалкие, цепляющиеся за жизнь остатки тревоги, страха, памяти о боли. Сознание, ещё недавно бывшее полем битвы, начало плавно, без рывков отключаться, соскальзывая в глубокий, химически индуцированный, но на удивление спокойный, вязкий и всепоглощающий сон. Последнее, что она видела перед тем, как её веки сомкнулись окончательно, было безэмоциональное, бесстрастное лицо Элен на экране, наблюдающее за её погружением в небытие с холодным, научным, лишённым какой-либо моральной оценки интересом.

И тогда, сквозь эту плотную, удушающую химическую пелену, подобно лучу прожектора, прорезающему толщу океанской воды, прорвалось воспоминание. Не обрывок, не неясная тень, не смутное ощущение дежавю, а полноценная, гиперреалистичная, яркая, как вспышка магния, реальность, в сотни раз более насыщенная и настоящая, чем всё, что она переживала в этой серой комнате. Это была не картинка. Это был целый мир, в который она рухнула.

Она открыла глаза, но это были глаза маленькой девочки лет пяти. Мир был залит ослепительным, золотым, щедрым полуденным солнцем. Огромная, бескрайняя, уходящая за горизонт поляна расстилалась перед ней, утопая в высокой, по пояс, сочной, изумрудно-зелёной траве. Стебли щекотали голые колени и локти, травинки были упругими и прохладными на ощупь. Вдалеке, у самого края мира, там, где поле встречалось с небом, величественно возвышались горы.

Их далёкие, синие, покрытые лесом вершины были окутаны лёгкой, розовой от закатного солнца дымкой, и от них веяло вечным, спокойным покоем. Воздух, который она вдохнула полной грудью, был густым, тёплым, звенящим от стрекота кузнечиков и невероятно, божественно ароматным. Он пах всем сразу: разнотравьем, нагретой за день и теперь остывающей, парящей землёй, сладким, тягучим, пряным запахом дикого мёда и луговых цветов, который несли на своих мохнатых лапках деловитые, сонные пчёлы, и ещё чем-то неуловимым, щемлящим — запахом детства, безопасности и абсолютного, безусловного счастья.

Она опустила голову. Прямо у её ног, покачивая нарядными головками в такт лёгкому, тёплому ветерку, росла целая семейка ромашек. Их белые лепестки, ровные, как лучики на детском рисунке, были ослепительно, неестественно яркими на фоне изумрудной зелени травы, а жёлтые, пушистые сердцевинки тянулись к солнцу. Девочка — она сама, но в ином, невозможном времени протянула пухлую, ещё неловкую руку и сорвала несколько цветков, стараясь не сломать стебли у самого основания.

Стебли были прохладными, чуть влажными от сока, и слегка шершавыми на ощупь. Она прижала этот нехитрый букетик к своей груди, к лёгкому, ситцевому сарафанчику в мелкий, бледно-голубой цветочек, чувствуя, как тонкая, вылинявшая от стирок ткань мягко прижимает цветы к сердцу, и несколько лепестков прилипли к сарафану.

И она побежала. Побежала так, как умеют бегать только дети — не по делу, а от избытка жизни, от переполняющего, распирающего изнутри восторга. Она почувствовала, как её босые, ещё не знавшие обуви ступни касаются мягкой, пружинящей, прохладной, влажной от вечерней росы травы. Каждый шаг отдавался в теле лёгким толчком, каждый вдох наполнял лёгкие чистым, звенящим, горным воздухом.

Яркое, но уже не обжигающее, ласковое солнце грело её макушку, согревало плечи, скользило по спине, создавая ощущение уютного, тёплого кокона, абсолютной, безграничной, вселенской безопасности и любви. Времени не существовало. Существовал только этот миг, этот бег, этот запах.

Словно что-то услышав, далёкий, беззвучный зов, она вдруг остановилась, тяжело дыша и улыбаясь, и развернулась. Там, на краю поляны, где высокая трава переходила в низкую, примятую дорожку, уходящую к невидимому дому, стояла женщина. Её мать. Она была молодой, невысказанно красивой, какой она её запомнила на всю жизнь. Густые, тяжёлые каштановые волосы, убранные в низкий пучок, но с выбившимися вьющимися прядями, развевались на ветру.

На ней было просторное светлое платье, его подол касался травы. Мать широко, открыто, лучезарно улыбалась, и от её улыбки, казалось, светлело всё вокруг. Её глаза, серо-зелёные, ясные, сияли таким теплом, такой бездонной, безусловной любовью, что у девочки перехватило дыхание. Она раскинула руки в стороны, приглашая дочь в свои объятия, и её губы, нежно-розовые на загорелом лице, беззвучно, но так отчётливо, словно эхо в голове, произнесли одно-единственное слово: «Дочка».

В этот самый момент, в этом коротком, щемящем, родном слове, в этом божественном запахе мёда, разнотравья и ромашек, в этом чистом, физическом ощущении босых ног на прохладной траве — что-то внутри неё, что-то, бывшее до этого туго закрученной, невидимой пружиной, с оглушительным, освобождающим звоном щёлкнуло. Плотина, годами сдерживающая чёрные, ледяные воды, прорвалась. Белая, сияющая стена в её памяти, о которую она так долго и бесплодно билась, рухнула в одно мгновение, рассыпавшись в мелкую, невесомую пыль, унесённую ветром. Она не просто вспомнила. Она узнала. Она осознала себя в контексте. Она больше не была пустотой.

Она не знала, сколько длился этот химический сон. Минуту? Час? Год? Целую вечность, сжатую в одно мгновение? Пробуждение на этот раз было совершенно иным. Оно не было резким, пугающим щелчком, включением рубильника. Оно было похоже на медленное, плавное, невесомое всплытие с огромной, чёрной, безмолвной океанской глубины на поверхность тёплого, спокойного, залитого утренним солнцем моря. Но теперь, всплывая, она точно, кристально ясно знала: у всплывающего есть имя, есть история, есть лицо.

Девушка открыла глаза. Комната больше не была погружена в мёртвые, вездесущие сумерки. Стены, бывшие до этого безлико-серыми, начали меняться. Они мягко, пульсировать, в унисон с её собственным, спокойным и сильным сердцебиением, подсвечивались изнутри призрачным, перламутровым, прохладным сиянием. Этот свет был холодным, голубовато-серебристым, переливчатым, он медленно волнами расходился по поверхности, напоминая биолюминесцентное свечение глубоководных медуз в безднах океана или северное сияние, каким-то чудом запертое в четырёх стенах. Он не слепил, не резал глаз.

Он мягко, успокаивающе обволакивал всё пространство, делая его похожим на внутреннюю, перламутровую, дышащую часть огромной морской раковины, в которой ещё слышен шум далёкого прибоя. В этом призрачном, неземном, живом свете её разум, очищенный от паники и химически успокоенный, вдруг заработал с пугающей, нечеловеческой, кристальной ясностью. Все кусочки мозаики, до этого казавшиеся разрозненными, хаотичными, лежали перед ней, и теперь она видела их истинную форму.

Она села на кровати медленно, спокойно, без тени страха. Её взгляд упёрся в пустой, чёрный, безмолвный экран на противоположной стене. И вдруг, словно пазл, годами, десятилетиями лежавший рассыпанным по пыльному полу, в один миг, по мановению невидимой руки, щёлкнул и сложился в единую, неразрывную, ослепительно ясную картину, в её голове вспыхнуло осознание.

Она начала вспоминать лицо с экрана. Не как сухой набор черт — «каштановые волосы, серые глаза», а как целостный, живой, дышащий образ. Но теперь она наложила на этот образ новые данные. Она закрыла глаза и мысленно воспроизвела его в мельчайших деталях. Каштановые волосы, убранные назад. Высокий лоб.

Серо-зелёные, ясные глаза с холодным, пронзительным взглядом. Прямой, аккуратный нос. Бледные, чётко очерченные губы. И то, на чём её взгляд зацепился ещё два дня назад, но что её повреждённый, защищающийся разум отказывался принять, блокируя эту информацию, как невозможную, как ошибку ввода данных. Она открыла глаза. Медленно, словно во сне, словно совершая священнодействие, она подняла дрожащую руку к своему лицу и кончиками пальцев указательным и средним, коснулась кожи под своим правым нижним веком.

Пальцы нащупали крошечный, знакомый, родной бугорок. Маленькую, чуть выпуклую родинку в точности на том же самом месте, где она видела её у Элен. Когнитивный диссонанс, двое суток державший её сознание в состоянии парализующего ступора, с оглушительным, почти физическим грохотом рухнул, похоронив под своими обломками страх, сомнения и пустоту.

На его место, затопляя всё существо, пришло ошеломляющее, пронзительное, почти невыносимое, физически болезненное в своей чистоте прозрение. Она вскочила с кровати так резко, что комната вокруг на мгновение покачнулась. Призрачный, перламутровый свет, казалось, сгустился вокруг неё, реагируя на скачок мозговой активности, заискрился ярче, затанцевал на стенах.

— Я знаю! — Выкрикнула она, и её голос на этот раз не поглотился бездушными стенами. Он прозвучал чётко, звонко, властно, как звук боевого горна. Он наполнил собой всё пространство, заставил завибрировать сам воздух, отразился от стен впервые за всё время. — Я знаю, кто я!

Она сделала шаг к экрану, и он, повинуясь её движению, её команде, мгновенно, без задержки, ожил, явив то самое миловидное, безэмоциональное лицо. Но теперь она смотрела на него не снизу вверх, не со страхом жертвы перед палачом, а с яростным, торжествующим, освобождающим, совершенно невыразимым узнаванием. Она видела это лицо не как чужака, а как зеркало.

— Это моё лицо! — кричала она, указывая дрожащим, обличающим пальцем на экран, а затем с силой прижимая ладонь к своей груди, туда, где бешено, но радостно колотилось сердце. — Ты — не кто-то другой! Ты — не похититель! Ты — не бездушная программа! Это я! Понимаешь?! Это моё лицо на экране! А моё имя... моё имя — Элен!

Она выдохнула это имя, полной грудью, как заклинание. И оно прозвучало не как вопрос, не как робкая догадка. Оно прозвучало как приговор, как финальный аккорд, как мощное, древнее заклинание, возвращающее ей абсолютную, неотъемлемую власть над собственной личностью и собственным существованием. Слезы, уже не холодные и панические, а горячие, живые, очищающие, ручьями текли по её щекам, капая на светлый костюм.

— Я — Элен... — прошептала она, уже тише, но с той же несокрушимой убеждённостью, прижимая ладони к мокрым щекам. — Я нахожусь в Лимбе. Но я вспомнила, как я выгляжу. Я вспомнила, кто я такая. Я — Элен.

И как только последнее слово слетело с её губ, комната отреагировала. И это не было сбоем, ошибкой или наказанием. Это был запланированный, предопределённый, неизбежный, заложенный в саму архитектуру этого места переход на следующую стадию. Безэмоциональное, восковое лицо Элен на экране на долю секунды замерло, а затем, впервые дрогнуло. Его совершенные черты исказились, пошли рябью.

Уголки губ дёрнулись, и на этом лице проступила сложная, нечитаемая, многогранная, пугающая и величественная одновременно гримаса, в ней в невыразимой пропорции смеша-

лись запредельная боль, абсолютное облегчение, скорбь и странная, леденящая душу удовлетворённость шахматиста, завершившего гениальную партию.

— Идентификация подтверждена. — Произнёс Голос. Но теперь он звучал совершенно иначе. В нём больше не было стерильной одноголосости. В нём появились множественные, накладывающиеся друг на друга эхо, глубокие, басовые обертоны, как будто говорила не одна женщина, а целый, слаженный хор, звучащий из разных точек пространства и времени. — Первый защитный барьер пройден. Ключ принят. Протокол расширения активирован. Добро пожаловать обратно, Элен.

Раздался низкочастотный, вибрирующий, всепроникающий гул, от которого завибрировали зубы, заныли кости черепа, задрожали внутренние органы и мучительно заложило уши. Элен попятилась, чувствуя, как гладкий пол под босыми ногами начинает мелко, угрожающе вибрировать, передавая эту дрожь всему телу. Стены комнаты, ещё недавно казавшиеся незыблемым, вечным монолитом, начали двигаться. Они не раздвигались, как створки дверей или разъезжающиеся перегородки, а скорее текли.

Светло-серая, непроницаемая поверхность пошла крупной, серебристой рябью, словно поверхность ртути, в которую бросили камень, и начала медленно, неумолимо, с тяжёлым, механическим, скрежещущим звуком, похожим на звук пробуждающегося от векового сна исполинского механизма, отъезжать в стороны и вверх. За ними открывалась не другая комната, не коридор, а ослепительная, бесконечная, всепоглощающая пустота, залитая абсолютным, стерильным, лишённым теней белым светом. Светом, который был ярче всего, что она видела.

Потолок над её головой с громким, утробным шипением разгерметизировался, разошёлся на сегменты. Из наступившей там, наверху, крошечной, космической темноты, подобно гигантским, кошмарным, неспешным щупальцам какого-то древнего, механического глубоководного божества, начали медленно, грациозно, бесшумно опускаться телескопические манипуляторы.

Они были идеально гладкими, хромированными, зеркальными, отражающими искажённый, распадающийся на части мир комнаты и её собственную, съжившуюся, одинокую фигуру. Они двигались с пугающей, нечеловеческой, гипнотической точностью и целеустремлённостью хирургических инструментов, нацеленных на свою единственную цель.

Элен хотела закричать. Хотела броситься бежать в открывшееся, манящее белое пространство, нырнуть в эту бездну, сбежать. Но её тело, её мышцы, её кости вдруг стали невыносимо, свинцово, парализующе тяжёлыми, словно сила тяжести возросла в десятки раз. Она не могла пошевелить и пальцем. Из подголовника чёрного параллелепипеда, всё ещё бывшего рядом, с едва слышным, мелодичным звоном выдвинулась тончайшая, длинная, почти невидимая глазу игла из какого-то прозрачного, стеклянного материала, наполненная переливающейся жидкостью.

Она мягко, деликатно, как поцелуй самой судьбы, коснулась задней части её шеи, чуть ниже линии роста волос, найдя нужную точку с абсолютной точностью. Вспышка ледяного, парализующего холода, мгновенно растёкшегося от места укола по всему телу. И вслед за ней мгновенное, тотальное, абсолютное отключение всех систем. Мир погас.

Сознание Элен не просто погасло. Оно было насильно, но бережно, почти нежно выдернуто из реальности мощной, неодолимой, бархатной волной седативных препаратов, гасивших нейрон за нейроном, как гасят свечи в огромном зале. Её тело обмякло, превратившись в безвольную, лёгкую тряпичную куклу, и хромированные телескопические руки, двигаясь с идеальной, завораживающей синхронностью, подхватили её под руки и под колени, не давая упасть на пол, отрывая от этого мира и унося вверх, в свет, в полную, сияющую неизвестность.

Пока она погружалась в этот новый, глубокий, вязкий, лишённый сновидений сон, её гаснущий, умирающий на время разум запечатлел последний, сюрреалистичный, раздробленный образ: не страх, не лицо Элен, а странное, кривое, многократно повторённое и искажённое отражение её собственного, заплаканного, но торжествующего лица в хромированной, изогнутой поверхности опускающихся и смыкающихся вокруг неё манипуляторов. Она засыпала, проваливаясь в новую бездну, унося с собой своё имя, своё лицо и этот невыразимый, пьянящий запах полевых ромашек, как единственный, хрупкий, но абсолютный якорь, связывающий её с жизнью, в надвигающейся, непроглядной, пугающей неизвестности следующего этапа.

Глава 2. Архитектура иллюзий

Сознание возвращалось к ней не резким, пугающим, безжалостным цифровым щелчком, как в прошлый раз, а иначе — медленно, нежно, почти ласково. Оно поднималось из тёмных, илистых глубин химического забвения, словно тёплое, прогретое полуденным солнцем, ленивое южное море неспешно и заботливо выносило её на самый край песчаного, пустынного берега, волна за волной, мягко и неотвратно выталкивая из небытия в реальность.

Это пробуждение было лишено насилия. Оно не вырывало её из тьмы, а скорее соблазняло вернуться, обещая покой и безопасность. Оно мягко и неотвратно, с терпением опытной сиделки, вытаскивало её из глубин, постепенно, по одной тончайшей нити, возвращая утраченные нити восприятия и самоощущения. Элен чувствовала, как её «Я», словно туго свёрнутый бутон, начинает медленно распускаться в этой новой, незнакомой среде.

Она медленно и с большой осторожностью, боясь спугнуть это хрупкое ощущение покоя, открыла свои уставшие, налитые свинцовой тяжестью глаза, встречая мягкий, рассеянный, медово-золотистый свет этой странной, неожиданной, новой комнаты. Свет струился откуда-то сверху, из невидимого источника, и не имел ни единого блика, ни одной резкой тени.

Он был словно протёрт сквозь тончайший шёлк, лишённый какой-либо агрессии, обволакивающий и успокаивающий. Элен прищурилась, давая глазам привыкнуть после крошечной тьмы сна, и инстинктивно потянулась, чувствуя, как приятно ноют затекшие, но не болящие мышцы.

Девушка лежала на просторном и мягком диване, таком широком, что на нём можно было бы уместиться втроём. Обивка была приятного, тёплого бежевого оттенка, напоминающего цвет топлёного молока, и на ощупь оказалась невероятно нежной, дорогой, плотный, но удивительно мягкий велюр с едва заметным, благородным ворсом, ласкающий кончики пальцев.

Она провела по нему ладонью, наслаждаясь тактильным ощущением. Эта ткань казалась слишком идеальной, слишком правильной для сурового, хаотичного реального мира. Высокий, уходящий куда-то вверх потолок щедро украшала изящная и сложная лепнина нежного цвета слоновой кости.

Замысловатые растительные орнаменты — акантовые листья, виноградные лозы, крошечные розетки, переливались в лучах тёплого, уютного золотистого света, создавая иллюзию, что находишься не в камере, а в каком-то старинном, богатом особняке с долгой историей.

Здесь не было и следа той давящей, стерильной серости, той пугающей, абсолютной пустоты и той леденящей душу, безвыходной безысходности, что пропитывали каждый атом её предыдущей камеры, того холодного серого параллелепипеда, до сих пор являющегося ей в кошмарах. Воздух здесь был совершенно иным. Он приятно и ненавязчиво, но при этом весьма отчётливо пах целым букетом ароматов.

Она различила сухую, успокаивающую лаванду, ту самую, что кладут в бельевые шкафы, глубокий, сладковатый запах старой библиотечной бумаги, чуть тронутый временем, и что-то ещё, неуловимо домашнее, родное, знакомое с детства, возможно, аромат свежееиспечённого яблочного пирога с корицей, доносящийся откуда-то издалека.

Элен медленно села, упираясь ладонями в мягкие подушки дивана, чувствуя во всём своём измученном, пережившем невероятные испытания теле странную, почти невесомую, пугающую лёгкость. Никакой физической боли, ни малейшей скованности в суставах, ни той противной, липкой слабости, что бывает после долгой болезни.

Её тело ощущалось обновлённым, напитанным энергией, но это идеальное, безупречное, почти стерильное состояние казалось ей глубоко подозрительным, фальшивым и абсолютно неестественным для человека, пережившего настолько серьёзную душевную и физиче-

скую травму. Это была не живая бодрость, а какая-то механическая, отлаженная исправность, как у смазанного робота.

Она осторожно и медленно, с исследовательским интересом, провела ладонью по мягкой ткани дивана, изучая её микроскопическую структуру. Ворс был идеально, математически ровным, лишённым любых, даже самых ничтожных дефектов, случайных зацепок, катышков или малейших следов естественного износа. Это была искусственная, стерильная, просчитанная суперкомпьютером мягкость, никогда в своём существовании не знавшая прикосновений настоящего, живого, тёплого человеческого тела.

К ней будто никогда не прикасались до этого момента. Элен напрягла память, силясь вспомнить, как именно и при каких обстоятельствах она сюда попала. Что было после того, как хромированные манипуляторы подхватили её тело? Был ли какой-то переход?

Память, как и прежде, оставалась непроницаемой, сияющей, безжалостно белой стеной, не пропускающей ни единого луча, ни единого проблеска прошлого опыта. Она знала только своё имя — Элен, то самое сокровище, которое она с таким трудом, с такой нечеловеческой борьбой выцарапала, вырвала из цепких лап небытия совсем недавно. Это имя было её единственным, хрупким, но абсолютным якорем в этой бесконечной, зыбкой и пугающей пустоте, её главной и, возможно, единственной валютой.

Девушка встала с дивана, и её босые, осторожные ноги ступили на гладкий, тёплый на ощупь деревянный паркет. Он был выложен сложным геометрическим узором, контрастные, тёмные и светлые пластины красного дерева, расходящиеся лучами от центра комнаты. Она медленно присела на корточки и провела ладонью по полу, пытаясь найти хоть какой-то изъян.

Ни единого стыка, ни малейшей щели, ни микроскопической неровности. Поверхность была идеально гладкой, прохладной на ощупь, но не обжигающе-холодной, и обманчиво, до одури похожей на обычное полированное стекло, накрывающее собой пустоту.

На низком, изящном журнальном столике из дымчатого стекла и хромированного металла мирно лежала красивая, увесистая книга в тёмно-синем, шершавом, будто бы тканевом переплёте с золотым тиснением на корешке. Название на незнакомом языке. Элен с надеждой, с замершим сердцем взяла её в руки и открыла посередине. Страницы были из плотной, кремовой бумаги, приятной на ощупь.

Но все они оказались абсолютно и полностью, безнадежно пустыми. Ни единой буквы, ни кляксы, ни отпечатка пальца. Это был всего лишь искусный, красивый и совершенно пустой реквизит, насмешка бездушной системы. Она пролистала всю книгу до конца — ничего. Захлопнув её, Элен почувствовала укол глухого разочарования.

Она медленно, словно в трансе, подошла к единственному в комнате окну, высокому, арочному, от пола до самого потолка, задрапированному лёгкими, полупрозрачными занавесками. За стеклом, в ярком, но неестественном свете, виднелся цветущий весенний сад, достойный кисти импрессиониста. Ветви фруктовых деревьев гнулись под тяжестью розовых и белых бутонов, слышалось даже какое-то подобие птичьего пения.

Элен, приглядевшись, похолодела. Листья на деревьях, такие яркие и сочные, совершенно не колыхались, оставаясь мертвенно и пугающе неподвижными, словно приклеенными. Пушистые белые облака на лазурном небе застыли в одной точке навсегда, не двигаясь ни на миллиметр, как декорация в старом театре. Мир за стеклом не жил своей жизнью, не дышал.

Он лишь существовал — бездушная, статичная, высокодетализированная декорация, смысл которой был лишь в том, чтобы на неё смотрели. Элен, затаив дыхание, поднесла руку к стеклу, ожидая почувствовать холод. Стекло было комнатной температуры. Она постучала по нему костяшками пальцев — звук был глухим, неправильным, каким-то слишком плотным, словно за стеклом была не пустота, а многометровая толща воды.

Элен отошла от окна, чувствуя, как внутри неё, в районе солнечного сплетения, медленно сворачивается в тугую, холодный клубок глухая, знакомая тревога. Это место было слишком

идеальным, слишком правильным, вылизанным до стерильности и полностью лишённым того прекрасного, живого, непредсказуемого естественного хаоса, составляющего суть настоящей жизни.

Настоящая жизнь всегда содержит в себе пыль на подоконниках, случайный шум с улицы, скрип половиц, царапину на лакированной мебели, неожиданный порыв ветра. Здесь не было ни грана настоящей жизни, а была лишь красивая, обманчивая, очень дорогая и мастерски выполненная декорация.

Осознав это с леденящей, тошнотворной ясностью, Элен поняла: она всё ещё находится в ловушке. Сложной, многоуровневой, изошрённой ловушке. Просто теперь, после первой, стрессовой фазы, эта ловушка стала невероятно красивой, обманчиво уютной и маняще безопасной. Агрессивный допрос сменился мягким соблазном.

Именно тогда, в момент этого осознания, пространство комнаты едва заметно дрогнуло, словно поверхность воды от брошенного камешка, и раздался звук, которого здесь, в этом стерильном, цифровом раю, совершенно не должно было быть. Это был не холодный цифровой гул и не бездушный щелчок механических манипуляторов.

Это был на удивление четкий, механический, абсолютно аналоговый и какой-то... старый звук, напоминающий натужный скрип давно не смазанных петель тяжёлой дубовой двери. Элен резко обернулась, её сердце пропустило удар. Она увидела, как абсолютно гладкая, бежевая стена гостиной внезапно пошла крупной, серебристой рябью, словно водная гладь, потревоженная всплывающим из глубины существом.

Из самой сердцевины этой ряби, из искажённого пространства, неожиданно и совершенно бесшумно шагнул мужчина. Он появился не из дверного проёма, — он материализовался, словно выйдя из самой толщи стены, пройдя сквозь материю, как ныряльщик сквозь толщу воды. Позади него, там, откуда он появился, на короткое, почти неуловимое мгновение остался абсолютно чёрный, не отражающий, а жадно поглощающий свет прямоугольник — портал, окно в изнанку этой реальности.

Элен моргнула, и через пару секунд этот прямоугольник задрожал, сменил свой цвет и текстуру, идеально слившись с остальной бежевой стеной, бесследно исчезнув, будто его и не было. В комнате теперь, в нескольких метрах от неё, стоял невысокий и сухонький пожилой мужчина, одетый в безупречно белый, накрахмаленный медицинский халат, ниспадающий почти до щиколоток.

Его волосы и короткая, аккуратно подстриженная, ухоженная борода были ослепительно белого, снежного, благородного цвета, словно первый выпавший снег. Лицо его, испещрённое сетью глубоких, выразительных морщин, казалось вырезанным из старого сандалового дерева — сухое, мудрое, умиротворённое.

В его руках, вопреки ожиданиям, не было никакого старинного кожаного саквояжа; его руки, с длинными, тонкими, музыкальными пальцами, были абсолютно пусты и расслабленно опущены вдоль тела. Мужчина вошёл в комнату (хотя "вошёл" было не совсем точным словом) и бесшумно, словно бесплотный призрак, закрыл за собой невидимую дверь, сделав короткое, скупое движение кистью.

Он направился к мягкому креслу с высокой спинкой, стоящему прямо напротив растерянной и настороженной, как дикий зверёк, девушки. Его движения были плавными, текучими, но в то же время слегка замедленными, будто он двигался в толще воды или в очень реалистичном, вязком сне.

Доктор Гладев — а это, без сомнения, был он, хотя бейджа пока видно не было, плавно, с врождённым достоинством опустился на сиденье, элегантно скрестив свои длинные, худые ноги в отутюженных серых брюках. Он не сводил с Элен своих необычайно ярких, пронзительных глаз.

В этот самый момент в воздухе, прямо перед его грудью, с лёгким электрическим потрескиванием, из ниоткуда, словно соткавшись из пылинок, вспыхнул голографический, полупрозрачный, вибрирующий синий бейдж. На этой светящейся в воздухе пластине, пульсирующей в такт невидимому сердцебиению, чётко и ярко проявился его длинный буквенно-цифровой серийный номер, похожий на код доступа. Рядом с цифрами, прямо под ними, проступило его имя и точная, официальная должность: "Доктор Гладев, нейрофизиология".

Чуть ниже, более мелким, но таким же чётким, будто выгравированным шрифтом, была добавлена вторая строка: "Архитектура разума". Элен напряглась, словно струна, внимательно и с колоссальной опаской наблюдая за каждым его малейшим, едва уловимым движением, за каждой микроэмоцией на его лице.

Его ярко-голубые, пронзительные, как остриё копья, глаза, окружённые сеткой морщин, смотрели на неё с какой-то древней, всепонимающей, неподдельной, почти нечеловеческой мудростью. В этом глубоком, бездонном взгляде совершенно не было той ледяной, вычислительной пустоты, что смотрела на неё с безликого серого экрана в прошлой камере. Там была пустота космоса; здесь была глубина океана.

— Добро пожаловать во второй этап вашего долгого и непростого восстановления, Элен. — Произнёс он. Его голос был мягким, бархатистым баритоном с лёгкой, успокаивающей хрипотцой. В отличие от голоса Элен с экрана, этот голос вибрировал в воздухе, имел источник, имел живые, тёплые обертоны.

Девушка, не отвечая на приветствие, сделала осторожный, инстинктивный шаг назад, продолжая хранить напряжённое, глухое и молчаливое ожидание. Её тело помнило боль и холод, и не спешило верить в этот новый, уютный спектакль.

— Кто вы такой на самом деле? — спросила она, и её голос прозвучал глухо, с нотками металла. — И что это за странная, жестокая, многоуровневая игра, в которую вы все со мной играете?

Доктор Гладев, вместо того чтобы ответить словами, вдруг медленно, очень медленно, словно под водой, потянулся своей правой, худой рукой куда-то за свою собственную спину, в пустоту, которой там, по логике вещей, не должно было быть. И в следующее мгновение из этой абсолютной, звенящей и пугающей пустоты, из ниоткуда, он неспешно и буднично извлёк тяжёлый, выдавший виды, старинный кожаный саквояж тёмно-коричневого, почти чёрного цвета, с затёртыми до блеска углами и массивными латунными замками.

Элен тихо ахнула, прижав ладонь ко рту, совершенно не веря своим собственным, сильно уставшим, но ясным глазам. Этот тяжёлый, материальный, фактурный предмет появился буквально из ниоткуда, грубо, цинично и наглядно нарушая все известные законы физики пространства и материи. Мужчина аккуратно, с какой-то нежной заботой положил эту странную, весомую находку себе прямо на колени, и та издала глухой, солидный стук.

— Это всего лишь необходимый рабочий инструмент для нашей дальнейшей, весьма деликатной совместной работы, — пояснил он, заметив её реакцию. — Не более чем метафора, облечённая в код.

Доктор Гладев медленно и торжественно, словно священник, открывающий дароносицу, поднял тяжёлую, скрипучую крышку старого кожаного саквояжа. Абсолютно никакой звук, что было уже знакомо, не сопровождал это странное механическое действие в тихой, замершей в ожидании комнате. Элен, затаив дыхание, внимательно смотрела на открытую, тёмную, манящую пасть кожаного изделия в полном, растущем и леденящем кровь недоумении.

Она ожидала увидеть инструменты, склянки, шприцы. Но внутри пока было темно. Лишь спустя несколько долгих, тягучих, мучительных секунд, наполненных лишь стуком её сердца, раздался резкий, отчётливый металлический щелчок — звук открывшегося замка.

Этот звук, как и в прошлый раз, непозволительно сильно, отстал от визуальной картинки, создавая жуткий, тошнотворный, выбивающий почву из-под ног эффект рассинхронизации.

Казалось, что аудио- и видеопотоки самой реальности, этого тщательно сконструированного мира, внезапно потеряли свою жёсткую синхронизацию, рассыпались на независимые фрагменты. Элен невольно вздрогнула всем телом от этого пугающего, глубинного нарушения привычной физической реальности вокруг неё. Мир моргнул.

— Рас-син-хро-ни-за-ци-я, — тихо и с лёгкой, едва заметной профессиональной досадой, смакуя каждый слог, пробормотал седой доктор, слегка поморщившись, будто от зубной боли. — Мелкие баги локального пространства. Не обращайтесь внимания.

Элен сделала еще один осторожный, плавный шаг назад, стараясь держаться на безопасной, как ей казалось, дистанции от этого странного, пугающего мужчины с его не менее странным багажом. Её сердце забилося чаще, гулко отдаваясь в висках, выдавая скрытое, но острое внутреннее напряжение и страх перед этим местом и его законами.

— Ваше присутствие, дорогая Элен, ваше сознание, вызывает небольшие, но весьма заметные, досадные сбои в локальном рендере этого защитного пространства, — добавил он спокойно, буднично, наблюдая за её реакцией, как за лабораторной мышью. — Вы здесь инородный, мощный, нестабильный элемент. Высокая степень осознанности всегда вносит помехи.

Девушка попыталась осмыслить услышанное, цепляясь за остатки логики и рациональности в своём затуманенном, но яростно сопротивляющемся сознании. Она чувствовала, как привычные, незыблемые с детства законы физики здесь, в этом Лимбе, постепенно, один за другим, теряют свою нерушимую власть, становясь податливыми, как глина.

— Вы хотите сказать, что лечите мою повреждённую и израненную нервную систему? — спросила она с плохо скрываемым недоверием, скрещая руки на груди.

— Нет, Элен, — мягко, почти ласково поправил её доктор, чуть склонив голову набок, словно любопытная птица. — Мы говорим здесь исключительно про ваш чистый, независимый от биологического носителя, бессмертный разум. Нервная система — это лишь капризный, узвзимый инструмент. Мы же работаем с музыкантом.

— Но ведь мой мозг посылает чёткие электрические и химические сигналы, это же чистая, доказанная и понятная физиология! Я это знаю! — возразила девушка, невольно повышая голос, чувствуя, как внутри закипает протест против этого отрицания материального мира.

— Ваш ум, ваша сущность, гораздо шире, сложнее и многограннее, чем простая, хоть и невероятно сложная, биологическая нейронная сеть физического тела, — терпеливо, с интонацией профессора, объясняющего азы нерадивому студенту, произнёс он. — Нервы это всего лишь провода. Они лишь передают электрические болевые импульсы от рецепторов. А вот ваш разум, и только он, эти импульсы полностью и глубоко интерпретирует, окрашивает эмоциями, превращает в страдание или в опыт. Боль — это не сигнал, Элен. Боль — это интерпретация сигнала.

— Разве мозг не является главным и единственным органом нашего сложного и осознанного мышления? — не унималась встревоженная Элен, хмурия брови.

— Мозг является лишь биологическим, органическим терминалом, точкой доступа, приёмником и передатчиком сигнала, — ответил нейрофизиолог, подавшись вперёд. — А сам разум представляет собой бесконечную, непостижимую, запутанную сеть, существующую в полях и взаимодействиях, которые ваша наука только начинает нащупывать. Ваше тело это аватар. А мы сейчас лечим игрока.

Доктор внимательно и пронзительно, не мигая, посмотрел прямо в её испуганные, расширенные, сейчас почти чёрные от ужаса и непонимания глаза. В его взгляде читалось бесконечное, вселенское терпение человека, видевшего подобное. Этот страх, это отрицание, это отчаяние, сотни и сотни раз, и для которого это был лишь очередной, хоть и важный, этап. Он понимал, что принятие этой шокирующей, выворачивающей сознание истины является ключевым, критическим моментом на всём тернистом пути к исцелению.

— Расскажите мне, Элен, — попросил он мягко, откидываясь на спинку кресла и складывая пальцы домиком. — Расскажите максимально подробно. Что именно, какие образы, какие ощущения вы помните о своей прошлой, реальной и, вероятно, весьма болезненной жизни?

Элен медленно опустила голову, её плечи поникли. Она крепко, до побелевших костяшек, сжала пальцами край бежевого дивана, словно ища в нём физическую опору. Она снова попыталась заглянуть за ту самую сияющую, непроницаемую белую стену, так надёжно, так герметично защищавшую её разум от непереносимой боли. Стена стояла, но кое-где в ней, кажется, появились крошечные, волосяные трещины.

— Я помню только своё имя, — призналась она тихо, надтреснутым голосом. — И... один странный, очень яркий, невероятно тёплый, пропитанный солнцем детский сон. Больше ничего. Только пустота.

— Опишите мне этот сон, — доктор наклонился вперёд, его голос стал ниже, интимнее, почти гипнотическим. — Опишите его максимально подробно и предельно честно, дорогая Элен. Не упускайте ни одной, даже самой незначительной детали. Какие там были запахи? Какие текстуры под пальцами? Какой свет? Это очень важно.

Девушка глубоко вздохнула, собирая разрозненные, хрупкие, как крылья мёртвой бабочки, обрывки воспоминаний в единое, связное повествование. Она закрыла глаза, позволяя образам того далёкого, невозможного дня всплыть на поверхность её очищенного от повседневной тревоги сознания.

— Там была... огромная, бескрайняя, сочная, изумрудно-зелёная поляна, — начала она медленно, словно читая по книге. — И высокие, величественные, древние горы, покрытые сизой, розоватой дымкой тумана где-то вдаль, у самого горизонта. Я чувствовала сильный, пьянящий, густой аромат луговых цветов, мокрой от росы травы и сладкого, густого, тягучего, липкого дикого мёда, — продолжила свой рассказ Элен, и на её лице проступила слабая, отстранённая улыбка.

— У вас были тактильные ощущения? — сосредоточенно, не перебивая, уточнил доктор.

— Да... Я сорвала несколько белых, ослепительно ярких ромашек, их стебли были прохладными и шершавыми, и крепко прижала их к своему лёгкому, ситцевому, в мелкий голубой цветочек сарафану, — добавила она. — А потом я побежала. Я бежала босиком по мягкой, пружинящей, прохладной зелёной траве, и чувствовала каждой клеточкой тела полную, абсолютную, какую-то космическую свободу. Потом... я резко развернулась, сама не знаю зачем, и увидела там, на краю поляны, свою родную, молодую, невероятно красивую и счастливую мать, — её голос дрогнул, дав петуха. — Мама... она широко раскрыла свои руки, приглашая меня в объятия, и беззвучно, но очень отчётливо, одними губами, позвала меня к себе. Она сказала «дочка», — закончила Элен свой эмоциональный, выстраданный рассказ, и одинокая слеза скатилась по её щеке.

Доктор Гладев медленно и задумчиво кивнул, оценивая её краткий, но очень честный, пронзительный, наполненный живыми деталями рассказ. Он видел, как сильно эти воспоминания, даже будучи, возможно, сконструированными, затрагивают самые глубокие, нетронутые струны её израненной души.

— Это очень хорошее, многообещающее начало, Элен, — произнёс он с теплотой. — Это надёжный фундамент для восстановления вашей сильно повреждённой и раздробленной личности. Ваше психоэмоциональное состояние постоянно, ежесекундно контролируется и сопоставляется с нашей базовой, эталонной моделью. Старайтесь находиться в уравновешенном, спокойном состоянии психики. Я не рекомендовал бы вам, но если что-то экстраординарное вдруг встревожит вас, если стены начнут рушиться, — просто вербально, чётко и громко пригласите меня. Я услышу.

Он аккуратно, словно фокусник, достал из тёмных, бездонных недр саквояжа маленький, старинного вида стеклянный шприц, уже наполненный неизвестной, опалесцирующей, переливающейся жидкостью. Внутри прозрачного, гранёного стекла медленно, словно живая, зачарованная, перетекала удивительная радужная, слабо, но загадочно, маняще светящаяся субстанция, похожая на густок северного сияния.

— Это специальная инъекция, — объяснил нейрофизиолог, поднося шприц к свету. — Она предназначена для мягкой и безболезненной стимуляции вашей глубинной, скрытой от вас самой, вытесненной памяти. Не бойтесь. Она обязательно поможет вам увидеть то, что вы так старательно и долго прятали от самой себя за этой белой стеной. Пришло время посмотреть правде в глаза.

Элен, поколебавшись лишь долю секунды, не стала сопротивляться. Что ей было терять? Она просто закрыла свои сильно уставшие и невероятно тяжёлые веки и покорно откинулась на подушки дивана. Она доверилась этому странному, пугающему, но, кажется, единственному союзнику в этом мире, понимая, что другого пути назад, в реальность, просто не существует.

Холодная, острая игла очень мягко, почти незаметно, как поцелуй призрака, коснулась нежной, бледной кожи на её левом предплечье, чуть выше запястья. Она даже не вздрогнула. Радужная жидкость, подчиняясь движению поршня, мгновенно и безболезненно влилась в вены, растекаясь по всему телу и даря ему странное, приятное, волнами расходящееся, обволакивающее тепло. Сознание девушки начало быстро и плавно уплывать в блаженную темноту, теряя связь с этой гостиной, уступая место новым, грядущим видениям.

Радужная жидкость, достигнув мозга, вызвала там целый каскад микроскопических молний. Сознание девушки начало быстро и плавно уплывать в глубокую, всепоглощающую темноту. Элен крепко, без сновидений на первой фазе, заснула прямо на мягком диване в гостиной. Её дыхание стало ровным, глубоким, размеренным и совершенно беззвучным в наступившей вдруг тишине.

Виртуальное, сконструированное пространство вокруг её спящего тела начало медленно и неумолимо, молекула за молекулой, меняться, реагируя на бурю в её подсознании. Бежевые, уютные стены гостиной начали терять свою плотность и цвет, растворяясь в густом, вязком, молочно-белом цифровом тумане. На смену искусственному, стерильному уюту пришла настоящая, осязаемая, пробирающая до костей прохлада летней ночи, наполненная стрекотом цикад и запахом влажной земли.

Девушка снова оказалась на той самой огромной, бескрайней зелёной поляне из своего драгоценного, единственного воспоминания. Высокие, синие горы всё так же величественно и безмолвно возвышались на самом горизонте её сна. Воздух, который она вдохнула полной грудью, был густым, тёплым, пьянящим от смешанного аромата тысяч полевых цветов, дикого мёда и нагретой за день земли. Она снова, как и в прошлый раз, была маленькой, беззаботной девочкой в лёгком, развевающемся на ветру цветастом сарафане.

Босые, розовые ступни приятно, щекотно касались мягкой и росистой, прохладной утренней травы. В маленьких, пухлых руках она крепко, до хруста стеблей, сжимала букет свежесорванных белых полевых ромашек. Яркое, но ласковое полуденное солнце приятно грело её спину и открытые плечи, заливало всё вокруг золотом.

Элен медленно, с сильно бьющимся от странного, сладкого предчувствия сердцем, развернулась. Там, на самом краю бескрайней поляны, где высокая трава переходила в утоптанную тропинку, уходящую к невидимому дому, стояла её мать. Женщина была молодой, ослепительно красивой, именно такой, какой она её запомнила, и невероятно счастливой в этот застывший, вечный миг. Её густые, тяжёлые каштановые волосы, выбившись из-под косынки, красиво развевались на лёгком, тёплом ветру.

Мать широко, открыто, лучезарно улыбалась, и её глаза сияли такой бездонной, безусловной и чистой любовью, что у Элен перехватило дыхание. Она медленно, словно приветствуя

вернувшуюся из долгого путешествия, раскинула свои руки, приглашая дочь в крепкие, спасительные объятия. Её губы, нежно-розовые на загорелом лице, беззвучно, но очень, очень отчётливо, словно эхом в голове, произнесли одно-единственное, самое важное в мире слово. Это слово было «дочка», и оно прозвучало не в ушах, а прямо в самом сердце, вызвав резонанс.

В этот самый, сакральный момент плотина памяти, та самая непроницаемая белая стена, окончательно и бесповоротно, с оглушительным, беззвучным грохотом рухнула. Белая стена в её сознании рассыпалась на миллионы, миллиарды сверкающих, острых, как бритва, осколков, вихрем пронесшихся сквозь неё, вскрывая старые, заповишие раны.

Настоящая, ничем не прикрытая, чудовищная, всепоглощающая боль утраты, всё то, что было заперто, хлынуло в её разум мощным, горячим, обжигающим, неконтролируемым потоком, сметая все заслоны. Она вспомнила больницу, этот едкий, тошнотворный запах хлорки и лекарств, этот липкий страх в коридорах. Она вспомнила ледяную, безвольную, восковую руку мужа, которую держала в своей, и звук ровной, бесконечной, смертельной линии на кардиомониторе.

Этот пронзительный, непрекращающийся писк, вестник конца. Она вспомнила увольнение. Злое, перекошенное лицо начальника, крики, обвинения, и возвращение в пустую, тёмную, гулкую, осиротевшую квартиру, где ещё витал его запах. Она вспомнила холодный, пронизывающий, хлёткий ветер на грязной крыше многоэтажки и тот единственный, последний, невесомый, плавный шаг в манящую, чёрную бездну. Шаг, который был не прыжком, а просто прекращением борьбы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.